

ГЛЕБ ШУЛЬПЯКОВ

Немецкий дневник

Этот очерк возник из дневниковых записей, которые я вел в Германии в ноябре этого года. Мой маршрут пролегал с Востока на Запад — из Лейпцига в Бонн. Как сложилась жизнь тех, кто переехал в эти города из России в 90-х; чем живет город, в чем его историческая память; восточные немцы, иммигранты — как живут в эпоху “после мультикультурализма”; как воспринимают российскую политику; какой видится современная и историческая Германия глазами того, кто, как я, готов возвращаться сюда снова и снова. Дневник, фиксируя незначительные бытовые события и вещи, в своей форме пытается ответить на эти вопросы.

I. Восток

24.10. Москва-Лейпциг

В аэропорту прочитал письмо из издательства. “Хорошо, ты не хочешь менять название романа на коммерческое, тогда давай назовем через ‘или’ – Книга Синана, или Когда ты разбила мне сердце”. Но это невозможно, это и пошлость, и новое название. “Тогда отложим переиздание на год, может, что-то изменится”. Что? Мне менять нечего.

Скорость и удобство пересадок, вообще транспорта в Германии. Каждый раз привыкаешь заново. Только что пробка в Химках, и уже Берлин, вокзал. Лейпциг. Старый полувыселенный дом с деревянными лестницами. Витражи. Незнакомая русская компания: вино, спагетти, сигареты. Разговоры ни о чем, кто-то бренчит на гитаре. На экране “Дортмунд” проигрывает “Ганноверу”. Ощущение, что попал в провинцию или в студенческое общежитие. Вышел, а через 20 лет вернулся. Но никакой трагедии, всем хорошо.

Я: “Ладно, поеду. Еще ничего не видел”.

“Ближайший трамвай через семь минут” (хозяин с “островской” фамилией Бородулин). Самые пунктуальные — те, кому спешить некуда, известно.

С. приехал на велосипеде. До этого общались по интернету, но через пять минут ощущение, как будто сто лет знакомы. Пристегивает велик у кафе, в подъезде, у магазина. Мой район (улица Eisenbahnstraße) считается “неблагополучным”, “Азербайджанштрассе”. В магазине, действительно, азиатские люди в спортивных костюмах (это мы уже после “бородулинских”). Едем в старый город — С. на велосипеде, я на трамвае. На Аугустус-плац приезжаем одновременно. Вечером Опера светится как волшебный ящик. Гевандхаус, Университет. Памятник Гёте, напротив пивная (где сцена из “Фауста” со студентами), теперь скучный ресторан. Рядом жутковатый памятник тоталитарным режимам, безголовый лунатик. Ратушная площадь пуста, но в дальнем углу улица; там не протолкнуться.

Пробка в Химках, как давно было.

На этой улице жил доктор Цимбалист, лечивший Леверкюна от “французской болезни”.

...Ночью мой “неблагополучный” район совершенно вымерший. Сетка улиц напоминает линии Васильевского острова; заброшенные дома с заложёнными окнами; из-под асфальта брусчатка; силуэт кирхи и засыпанные листьями скамейки; обаяние упадка, заброшенность и запущенность; хотя в домах что-то празднуют; из окон смех и крики; суббота.

25.10. Лейпциг, “Остров мертвых”

“Новой архитектурой они хотят вытравить саму память о ГДР” (С. о новом здании университета). Стилизация под кирху, которая здесь стояла, стандартный хай-тек.

“Ты просто не видел наши новоделы”, — говорю ему.

Музей изобразительных искусств тоже в “новой” архитектуре. Это стеклянный куб, втиснутый в старый квартал. Три этажа, широкие деревянные лестницы. Пожилые смотрительницы в мешковато сидящей музейной форме. По-английски не говорят. “Битте, лучше снять куртку и перекинуть через руку” (жестами). “Битте, куртку лучше набросить на плечи” (этажом выше). “Битте — вот сюда, здесь” (заметила, что я ищу табличку). “Битте!”

Мягко, но настойчиво.

Во-первых, “Остров мертвых” Бёклина, эта икона русского символизма. Пятый, кажется, номер (была настолько популярной, что написал несколько). В 90-х моим литературным

кумиром был Андрей Белый. Я собирал всё, что переиздавали. Купил “Весы” в букинисте, разорился (номер за 1909-й, кажется). Там была репродукция этой картины и рисунки Бенуа и Бакста (заставки). Брюсов, Волошин, Балтрушайтис. Новое искусство. Но потом как-то забылось, стерлось. Обаяние запрященной эпохи. Многие из них потом замечательно вписались в советскую жизнь. Хотя считались *русскими европейцами*.

“Битте, найн!” (*Хотел снять “Остров” на телефон.*)

“Битте, надо спуститься и купить билет для съемки”.

С тоской смотрю на бесконечную лестницу.

“У нас есть лифт, битте!” (*Улыбается.*)

Деревянные панели раздвигаются.

“Данке, найн”.

...Значит, “Остров мертвых”. Во-вторых, Каспар Фридрих и его “Три возраста”. Вертикаль мачт в вечернем небе, они упрямо плывают, мы остаемся. Пейзаж моего отрочества. Подоконник, открытое окно, закат. Тягостный скрежет, подростковая музыка (Роберт Фриш). “Тоска”, “предчувствие”. Я могу пережить это ощущение, надо только включить музыку. Но слова? Спросить в Бонне Леона (это мой однокашник, переехал 20 лет назад). В немецком языке таких оттенков масса (душевных состояний). А вот интересно, откуда в доме взялся Фридрих. В-третьих, бытовая немецкая и голландская живопись. “Занятие в классе”, “Школа для девочек-сирот”, “Кухарки” шинкуют капусту. Зимний холод комнат с высокими потолками. Крошечный, с пачку сигарет, Брейгель. Вижкерслут, Ян ван — впервые слышу это имя. Автопортрет и тут же в углу картины еще портрет, изрезанный и скрученный в ленту; они обожали аллегии. Порок, добродетель. Художников была целая армия; соперничали, грызлись.

Deutsche Spezialitäten. Удивительно, как эта brutальная кухня сочетается с тончайшими немецкими винами. Это разные *цивилизации*.

В кирхе Святого Фомы (Томас-кирхе) Бах служил кантором. Памятник с вывернутым карманом стоит перед входом, о бедствовании гения говорят все экскурсоводы. Группы через одну русскоговорящие. В кирхе устраивал диспуты Лютер, рассказывает гид. Захоронение в алтарной части. Но что? Просто собрали кости, размечанные после бомбежки. Один из черепов признали Баховским (был похож на портреты); торжественно перезахоронили. Вот и все, на что мы можем рассчитывать.

Или носатый мясник в парике, гравюрка в антикварном (25 евро). “По природе своей он был гармонизатором, и только гармонизатором” (Томас Манн о Бахе). “Гармонически осмысленная полифония”. Великий гуманист о великом лютеранине. Чего-то не хватает в этой фразе. Какое-то умаление. Ничего этого в юности я не знал и не понимал. Но дома была коробка пластинок “Страсти по Матфею”. Это были старые отцовские пластинки. Когда он умер, я стал их слушать. Его музыку. Темно, лежишь с открытыми глазами. В наушниках Бах. В этой музыке сама музыка исчезала. Ничего, чтобы понять этот “немузыкальный” язык, не надо было, просто слушать.

Слушать музыку как тогда, как я хотел бы.

...С. говорит, что восточные немцы ленивы и грубы. Так, во всяком случае, считают западные; не знаю; с кем я сталкивался, тех, особенно старшего поколения, расторопными не назовешь, это правда. Но и грубыми тоже. Не грубее, чем в московском метро.

25.10. Лейпциг. “Типичный немецкий абсурд”

Сначала полицейская машина с мигалкой, дальше собственно шествие. “Refugees welcome!” (плакаты); против “праворадикального насилия”. Три года назад неонацисты убили тут, у вокзала, одного иракца, юного совсем. Сегодня открывали памятный знак. “Помнить — значит действовать” (лозунг). Все это я вычитал в листовке, которые раздавала зевкам в кафе, где я пил кофе и курил, девушка. Шла в основном немецкая белая молодежь; коляски, велосипеды — семьями, тысячи полторы (представляю себе москвичей на митинге за гастарбайтера). При том, что Меркель объявила “конец эпохи мультикультурализма”. “Они (иммигранты) не ассимилируются, не учат язык”. Но, главное, “они не разделяют ‘европейские ценности’”. Ради чего тогда вышли эти молодые люди? Человеческое выше национального и государственного; это и есть “новый гуманизм”, когда идея совпадает с человеком; хотелось бы так думать. Писатель Имре Кёртес сказал в Нобелевской речи, что “после Освенцима не произошло ничего, что его опровергло бы”. Дрезденская галерея, Кёльнский собор, всё европейское Возрождение — обнуление. И вот эта попытка — найти, нащупать; абсурдная, конечно, какое может быть равенство, у людей даже о добре и зле представления разные; какие “ценности” (“Все современные войны — это войны между добром и злом”, — сказал Кёртес). Многие из иммигрантов сочувствуют идее Исламского государства. “Типичный германский абсурд”, — сказал бы С. Но и нет, не аб-

сурд. Есть во всем этом какая-то подлинность. Ярость. То, что не позволяет иронизировать. К тому же это Лейпциг. Мирная революция 1989 года начиналась здесь. В Николай-кирхе, где по понедельникам собирались лютеране-экологи. Со своего “химкинского леса”, по сути; нельзя же протестовать “абстрактно”; а система не справлялась уже на уровне природопользования. “Штази” запрещало перестроечные газеты из СССР, эта нелепость агонии. Хотя Венгрия уже открыла границу с Австрией. Всей оппозиции в Лейпциге было несколько тысяч, люди знали друг друга в лицо; но выбирает не человек, а История. 9 октября на площадь выходят 70 тысяч. Полиция в панике. Кого? Лидеров, организаторов — нет; каждый человек — лидер, каждый — организатор. И в ноябре Стена падает. Круглая дата, 25 лет. Конец холодной войны. Некалендарный европейский “фин-де-сьекль”. Ведь большую часть этого века они прожили в страхе. Фюрер, Сталин, потом советская бомба. “Век тревоги”, — как сказал У. Х. Оден. Для немцев этот век начался в августе 1914-го. Было даже такое понятие “Augusterlebnis” (“Августовское переживание”). Объявление войны, патриотический подъем (“...сотни тысяч людей чувствовали то, что им надлежало бы чувствовать скорее в мирное время: что они составляют единое целое” — Цвейг). И Цвейг, и Томас Манн разделяли его. 75 лет (1914—1989), воевали почти весь век. В Европе, в Германии. Ее поражение, ее унижительные разделы; жизнь в Империи Зла, все это цена за “Augusterlebnis”. Пока Империя не рухнула. Россия, Европа, Америка — против СССР. Теперь многие называют это поражением; и новый “Augusterlebnis”, только российский; реванш этих людей мне более-менее понятен; он интернациональный; Империя покрывала тенью полмира. Этим летом во Франкфурте меня подвозил таксист-алжирец. “Из Москвы? Я тоже против Европы, я против Америки. Советский Союз хорошо!” При том, что работа, страховка, жилье, детский сад... И ненавидит Германию. “А что делать таким, как я? Кто не против? — спрашиваю. — Посоветуй, брат”. — “Э-э-э...” — качает головой.

Томас Манн. Великой державой мы были уже слишком долго. Это состояние стало привычным и нас не осчастливило. Срочно понадобился новый прорыв, на сей раз к мировому господству, которого, конечно, нельзя было достигнуть никакой высокоморальной деятельностью на родной ниве. Стало быть — война, и, если придется, — война против всех; великий час Германии наконец пробил. Эта мысль завладела нашими умами вместе с убеждением, что война нам навязана, что лишь священная необходимость заста-

вила нас взяться за оружие. Что из того, что другие народы считали нас правонарушителями, забияками, несносными врагами жизни, — у нас имелись средства, чтобы бить мир по голове до тех пор, пока он не переменит своего о нас мнения, не восхитится нами, не полюбит нас. Да не подумает кто-нибудь, что я потешаюсь.

25.10. Лейпциг, старые фотографии

Покупал на вокзале телефонную карточку. “Вы можете по-русски” (продавец увидел мой паспорт). Из Украины.

Созвонился, наконец, с Андреем. Вот тоже удивительная история. Он, как и я, правнук о. Сергия, батюшки из Самети — по линии Николая, самого старшего из поповских детей. Живет в Германии с 90-х. Я ничего не знал о нем, пока не случилось то, что объявился другой батюшка, о. Роман; служит в том же храме сейчас; нашел меня по интернету, прочитал мою “Саметь” в “Новом мире”; списались, договорились о встрече. Сам уральский, матушка местная, костромская. Хотят попечительский совет, деньги на реставрацию; прадеда местночтимым святым (был репрессирован, новомученик). “Как нам выйти на Михалкова?”

Наивные люди.

А потом обнаружил в телефоне старые фотографии. Довоенная Грузия, довоенный Киев. Рим, Венеция, Стамбул. Наш Петя, каким он был два года назад. Как я скучаю по нему, каким он был тогда. Каждые полгода он разный. А мы все те же. Как по-разному идет время.

26.10. Дрезденская галерея

В кассах Лейпцигского вокзала не говорят по-английски. Это удивительно, в Западной Германии такое невозможно. “Кайне дойч, битте, инглиш!” Продолжает говорить, только громче. “Не понимаю” — значит, “не слышу”. В электричке с испанскими студентами, большая компания; громкая, через кресла, трескотня; за час это может свести с ума; чистый шум; пересесть некуда, вагон полный.

...Дрезден с моста, панорама над рекой — шпили, башни, мост. Можно представить впечатление путешественника, который видел эту панораму над огородами; хотя сам город унылый: серый, пустотный какой-то; продувной. Только черные зубья башен; такие недовыбитые зубы.

В первом зале справа да Мессина и св. Себастьян. Акриловое, “цвета морской волны”, небо. Кричащее. Оно почти никогда не воспроизводилось на репродукциях точно. Казнь состоя-

лась, но болтают на галерее; этот вообще дрыхнет; сиеста. Альбом да Мессины был у меня в детстве, небо там было вообще серым.

Кранах и его ветхозаветный цикл, его “Вирсавия”. Гольбейн; один Терборх и его девушка, моющая руки (мы подглядываем). Картины, как замочные скважины. На кого смотрят эти люди? Не на нас; на художника. Он вышел, а мы просто заняли его место; ощутить на себе этот взгляд.

Еще “кричащий” цвет, лимонно-желтая кофта “У сводни”. Рядом честная девушка (“Письмо” Вермеера). Живут своей жизнью, никакой позы. В своих мыслях и письмах. На стене сначала была карта, но потом Вермеер убрал ее. Пустая стена, экран фантазий. Ведь что в письме, мы не знаем. Еще одна “Вирсавия”, Рубенса. Еще одно письмо. У меня была эта марка. Как я школьником мерз у ларька “Союзпечати”! Это 80-е, мы жили тогда в научном городке под Москвой. За мутным от дыхания стеклом женщина в перчатках с отрезанными “пальцами” (слова “митенки” я не знал тогда) — распаковывает картонные коробочки. Я всматриваюсь, она качает головой. “Сегодня ‘Искусство’ не завезли”.

...В галерее много русских групп. Я слышу какие-то семейные подробности, сколько лет было второй жене Рубенса, сколько зарабатывал Рембрандт и т. д. Потрясающие панорамы Дрездена Каналетто (племянник венецианского, ничего не знал о нем). Гордились, какое все хрупкое, воздушное. Хотелось рассказать всему миру. Какое утонченное — для того “грубого” времени. И каким чудом уцелело под бомбами в наше “утонченное”. Как это вообще уместить в сознании, *это* — и Холокост, например. Это — и “когда я слышу слово ‘культура’, моя рука тянется к пистолету” (Геринг? Геббельс?). Если ответа нет, дальше просто бессмысленно.

“Ацис и Галатея” Лоррена, любимая картина Ставрогина, Достоевский называл ее “Золотым веком”. “Венера” Джорджоне и дописанный Тицианом пейзажный фон. Обнаженное тело, когда на него никто не смотрит. Она спала на обложке альбома по Дрезденской галерее, книга тоже была у нас в доме. Спала, а я рос. Как важно, когда в детстве есть книги по искусству. А дальше широкие плоские женщины Пальмы Веккио, которые потом у Пикассо вдруг сорвались и побежали, размахивая руками (и малявинские бабы на другом конце света побежали тоже).

26.10. Лейпциг, иностранка

Вечером встретился с Л., меня ей “передал” С. (он вдруг уехал). Она перебралась сюда в 90-х по немецкой линии. Од-

на, родители остались в Казахстане. Моя ровесница. Пожаловался ей, что не знают английский.

Она: “Это типично саксонское — не знаю и не хочу знать”.

Снова разговор о переезде (не могу сказать “эмиграция”). “В России мы были немцами, а здесь мы вдруг стали русские”.

Сама она из Семипалатинска.

“Но если немцы — они, то кто — мы?”

“Живу иностранкой”.

Спрашиваю о С.

“Он больше немец, он с детства увлекался Германией. Он даже пишет на немецком. Ему проще” (С. из Красноярска).

Л. преподает в университете, филология и славистика. До прожиточного минимума доплачивает государство плюс регистрация “свободным художником” (Freischaffender Künstler), там немного другое налогообложение. А она, действительно, рисует.

“Хотя можно работать в фирмах, — пожимает плечами. — Продавать технику... раньше с Россией много работали... но мы же филологи...”

Она улыбается. Книжечка, сборник “Бутерброд”. Их литературная компания, симпатично издан. С немцами. Сидели в кафе при старой крепости (Гевандхаус был изначально оркестр пошивочных мастерских). Она рассказывала о программе “возвращения” немцев, как это все “работает”. Я представил, как в Россию возвращаются старообрядцы из Аргентины, потомки иммигрантов из Китая, из Австралии, русские из Средней Азии, из Прибалтики... Завтра идем к монументу “Битва народов”.

27.10. Лейпциг. Карлы

Л. живет в тихом пятиэтажном районе в трех остановках от Оперы.

Застройка времен Гитлера.

“А это что?”

В квартирных дверях маленькие оконца.

“Это подглядывать”.

Мы смотрим друг на друга через амбразуру.

“Они тут все немного стукачи и доносчики”.

(“Немного” это 111 километров стеллажей с “бумажными” доносами и 47 километров с микрофильмами в архивах “Штази”.)

Зато как по-домашнему скрипят деревянные лестницы! Как светит в парке осеннее солнце; этот гвалт из детского сада. Ранний московский сентябрь — по звуку, по свету.

“Старшее поколение иммигрантов обожает жить в этих районах”.

“Это напоминает им СССР”.

А может быть, это просто от того, что мы с Л. говорим на одном языке; редкость в наше время.

По дороге она спрашивает о литературе. Как, что там у нас? Кто? Здесь, в Германии — даже вспоминать об этом не хочется.

Как? Рассказываю об издательстве; что требуют поменять названия романов на коммерческие; что, если бы я вовремя не заметил, мой “Музей имени Данте” вышел бы с голыми задницами на обложке.

“Или давать патриотизм, тогда и тиражи, и премии”.

“Живу иностранцем”.

Смеемся, но как-то невесело выходит.

Лейпциг, “Битва народов” — для меня это всегда Батюшков. Это началось, наверное, с лекции Бабаева — еще в университете. Он читал, словно Николай Константинович сейчас войдет или только что вышел. “Ах, хил Батюшков!” И вот огромная гранитная тумба размером с космический корабль. Лифт в главный мемориальный зал. Валгалла со скорбящими фигурами. Серый зернистый гранит. Винтовая лестница на крышу. Лейпциг плоский город, вокруг лесистая равнина, поля. Только на горизонте холмы, идеальное место сражения. Бескомпромиссное. Небо в розовых облаках-перьях. Разноцветный осенний лес. Безветренный вечер. И: “Заваленное трупами людей, коней, разбитыми ящиками и проч.” Представить это сейчас невозможно, конечно. Это даже не Бородинское поле, где хотя бы рельеф — сохранился. А тут черта города. По полю битвы ходят трамваи.

Кирха, которую искал Батюшков. Где она? Там погиб его друг Петин. Упоминает деревеньку Роте и Госса. Но в каком это районе, на какой улице? Батюшков, уезжая, умолял пастора присматривать за могилой. Я эту просьбу, мне кажется, слышу. И битва, и вообще “12-й год”, они, конечно, перевернули его сознание. Пожар Москвы что-то в нем навсегда уничтожил. Выжег. Пепелище. Он и Боратынский (“разувенье” — его слово). Но Боратынский сумел рассказать это в стихах. Успел. А Батюшков нет. Вернее, только тем, что спятил. Тем, что вернул билет. Так или иначе, но я очень хорошо чувствую этот надлом и перелом. Даже через двести лет, через оглохший язык и нечитаемые образы. Каким-то непостижимым образом это рифмуется со мной. С нашим временем. С его грубым “наползанием”, “подмятием”. Хотя бывает

ли по-другому? “Разочарование”. Когда я думаю о нем. О стране, о людях. О современной литературе. Этот момент неизбежен, когда то, что было близко, исчезло или уничтожено. А то, что осталось, безразлично. Ничего, кроме языка, и не держит почти. С ужасом и восторгом это понимаешь. Какие-то лоскуты, обрывки. Какое странное это новое ощущение. Сперва не знаешь, что с этим делать. Что это? Такая “воздушная яма”. И эта его лошадь без седока, которую он рисовал уже в Вологде. Лошадь и Лейпцигскую кирху, где могила. Финал. Притом что почти всю юность при войне. Пруссия, Швеция, компания 1812 года. “Ахилл Батюшков!” Но История свершалась на его глазах, и переписывали ее тоже при нём. “Из меня сделали римлянина, — говорил ему Раевский между сражениями, — из Милорадовича — великого человека, из Витгенштейна — спасителя отечества, из Кутузова — Фабия. Я не римлянин, но и эти господа не великие птицы. Провидение спасло Отечество”.

“Сколько небылиц напечатали эти карлы!”

27.10. Лейпциг. “Зачем ты приезжаешь сюда?”

Петя попросил привезти из Германии настоящую губную гармошку. Вроде бы само собой. Но где? В витринах нет. Встретил на улице одного из “бородулинских” (Лейпциг маленький город). Вчера на улице, он пристегивал велосипед. Он музыкант. Дал адрес магазина, проинструктировал: “Заходишь и говоришь: “Мунд хармоника, битте”. Продавец задаст вопрос. Не важно какой. На него надо ответить одним словом: ‘С’”.

И вот мы с Л. в магазине. Я произношу мантру.

“Так ты знаешь немецкий!” (Л. смеется).

“Я знаю пароль”.

Петька будет счастлив.

Шли на трамвай. Последний вечер, но нет завершения. В воздухе пауза.

Л.: “Толя!”

Человек с гитарой оборачивается. На остановке (Лейпциг — маленький город). Знакомимся. Поэт, бард и тоже из “Бутерброда”. Записывался у друзей в домашней студии. Сперва настороженно, отмалчивается. Потом, когда разговорились, признался:

“Сейчас из Москвы люди разные приезжают”.

“А мы тут изнежены демократией...”

Тут же, недалеко от вокзала, нашли бар. В гэдээровском стиле (“Мы принимаем дойче-марки!”). И курить можно, что вообще невероятно. За стойкой тетка — каменная улыбка,

крупнокалиберный бюст. Пожилые ковбои, молча глядя в точку, сидят перед кружками, как манекены. Ретро-плакаты; цены копеечные. По типу нашей рюмочной.

Л.: “Даже не знала, что в Лейпциге остались такие заведения”.

...Совсем вечером, в сквере. Флаконы “Егермейстера”. Тепло, ночь. Разговоры. Почему подобные возвращения (на лавочку в юность) невозможны дома? Хотя и лавочки те, и бульвары. И ты. А что тогда? А воздух другой. И люди другие. Друзья моей юности, где вы? Нет, нет и нет. А здесь это возможно, нейтральная территория. И это странно, и хорошо. Мои новые знакомые, а ощущение старых-престарых. С которыми просто давно не виделся. И так жалко, что завтра ехать.

“Цвай рислинг, битте!”

Потом, уже у себя, в “районном баре”, представляю себе: Л. вдруг спрашивает меня.

“Зачем ты приезжаешь сюда?”

А зачем в самом деле. “Здесь мне в голову приходят интересные мысли... Что-то неожиданное пишется, что потом дает толчок... Старые мастера, для меня это часть жизни, хотя я не думал... Потом, у себя — я живу этим, буквально. Это меня держит. И новые знакомые, тоже ведь роскошь. Общение. А как еще? Чем спастись?”

Мы ведь близнецы, так мне хочется думать. И Л., и С., и Т. По возрасту я мог быть на их месте. Я пробую представить это. Что, если бы... Но нет, на пятнадцать лет назад не вернешься. Выходит, шансами 90-х я не воспользовался. Москва? Да. Из Семипалатинска или Красноярска проще было переехать в Германию.

“А что ты делал в это время?”

Что делал... Стоял в очереди за портвейном. Наша университетская библиотека, конечно. Круглый читальный зал. Летом с рюкзаком по Крыму. В августе 1991-го забрался на Меганом, даже не знал, что происходит, радио не было. А когда добрался до Москвы, все было кончено. Потом работал в книжной лавке в Калашном, когда шли танки. Что-то начинал писать. И театр, Маяковка. Они (и Крым) и спасли меня. Не знаю, куда бы я тогда вляпался. Потом первые публикации, и начинаешь понимать, кто ты и зачем. Газета. Первая Европа, Прага. “Невыносимая легкость бытия”, которую уже никогда не забудешь. Ожившие почтовые марки из моего класса. Кошмарные лестницы Кафки, и гуси на Влтаве. Старое еврейское кладбище. Это был язык, который я чувствовал. Он не требовал перевода. А потом была Италия, и мир еще раз перевернулся.

II. Запад

28 октября. Лейпциг—Дюссельдорф—Бонн

Если не записывать сразу, через день — это не дневник, а литература. Срок хранения сутки; точнее, ночь. Дальше мы имеем дело с памятью, а она играет по своим правилам. Одна реальность вытесняет другую на твоих глазах. И ты ничего не можешь с этим поделать. Не можешь сопротивляться, остановить. Только зафиксировать.

Все, что я пишу сейчас, я пишу уже в Бонне. То есть вспоминаю. Как утром на вокзале в Лейпциге было солнце, но через сорок минут поезд погрузился в туман. Как из его молока опускались стволы деревьев и опоры ветряков; как всплыл в окно и растворился Брауншвейг; еще города и еще молоко. Но уже за Дортмундом солнце; небо высокое, такого я давно не видел (это следы от самолетов “поднимают” его). Крупные некрасивые города. Между ними пейзажи, какими законченными они выглядят. Это природа, какой ее представляет человек. Функция и красота, красота этой функции. Пространство, в котором они свершаются. Тогда что такое бурелом в моей тверской деревне? Где никакой красоты и функции, только одна незавершенность? Одно хаотичное движение из прошлого в будущее? Это Время.

В Дюссельдорфе холодный и ясный вечер. Пять часов дороги, тротуар под ногами качается. Сообщение от Фриша, он как всегда опаздывает. Предлагает подождать в кафе. Но ждать после поезда невыносимо и я беру такси.

В окне холодный и длинный город; вечер, но еще не темно; в холодных витринах догорает закат. Жесткий холодный город. Хотя я помню парки; какие тут прекрасные парки; как прошлой осенью мы в них бродили, я, Фриш, Лео и Зоя.

Пустая улица. “Химчистка”, “Турагентство” и русский книжный. “Литера”. Крошечный, размером с коробку из-под холодильника. Звоночек на двери.

Всё такие же смешливые дамы.

“Замерзли? Двести километров до Северного моря”. (*Ха-ха-ха.*)

“Хотите чай?” (*Ха-ха-ха.*)

“Его гипертрофированное эго в наш магазин не вмещалось”. (*Ха-ха-ха.*)

Это о В., который читал тут недавно.

Комнатка постепенно наполнилась. Тесно, хотя всех — человек десять. Зажгли настольную лампу. Старушка с полубезумным немигающим взглядом, я помню ее по прошлому ра-

зу. Еще пять-шесть пенсионеров. Какой-то студент: зашел, послушал, бесшумно вышел. Из Кёльна приехал Ч. Фриш и с ним черниговская парочка (а у Леона лекция). Всё.

“Подпишите, пожалуйста”.

“Кому?”

Он назвался.

Я: “Андрей — это вы?”

Смешно и странно: мы правнуки одного и того же человека. А кто мы друг другу? С чего начать? Не с чего; посторонние. И времени на знакомство нет, после вечера мне в Бонн. Значит, в следующий раз, весной. Он совсем по виду немец: седые охотничьи усыки и бородка, не хватает ружья и тирольской шапки. Что-то от прадеда, нос картошкой. Плотный. Привез ему журнал с “Саметью”, он достал фотографии. Церковь в деревьях, дом еще не разделен и не обшит и тоже в зелени; снимку пятнадцать лет (когда он приезжал туда).

Я: “Сейчас там все голое”.

Рассказал Андрею про отца Романа. Он улыбался, разглядывал меня. Волнуется, но не показывает. Мне это волнение передалось. Читал и посматривал на него.

29 октября. Бонн—Вупперталь

Проснулся от стука в номер. Щелчок, дверь открывается. Уборка.

Вы еще спите? Извинилась, вышла. Посмотрел на часы, 8 утра.

Моя гостиница через дорогу от квартирки Леона. После завтрака идем гулять в Ботанический сад. Это лучшее место в Бонне. Ягоды гинко пахнут старыми шпалами; гигантские лопухи, как в мультиках. Пруды. Тыквы. Тыквы! Значит, я был здесь ровно год назад; на Хэллоуин. Тыкву тогда нацепили на голову памятнику. Жгли в саду костры, а Оранжерея была допоздна открыта. Бродили в зарослях в душной темноте. Старики, играющие в петанг.

У Леона только одна новость, они с Фришем разругались; какие-то картины, интриги. Причем все из лучших побуждений, разумеется. Фриш хотел помочь пристроить картины (Леон с юности рисует мрачные абстракции). “Вы с ума посходили” (говорю ему). Для их крошечного круга это невозможно. К тому же я в нелепом положении.

Фриш в своем стиле. Всем от него что-то нужно; всем он что-то устраивает; обеспечивает; помогает; встречает-проводит-отвозит (Мюнхен—Франкфурт—Дюссельдорф); этот неиссякаемый поток с Украины. Дома жена и трое детей;

младшая родилась прошлым летом, когда мы ехали из аэропорта; Фриш принимал роды по телефону, буквально; жена его умоляла не спешить (Фриш бывший гонщик и много раз “бился”). Хочу расспросить его про письма счастья; это готовая новелла для “Красной планеты”. “Сначала то, что предложил Вадик, показалось мне нереальным. Но поскольку мой водочный бизнес...” Водочный бизнес на Украине, страшно представить. Но “письма счастья” — это гениальная авантюра. Разбрасывали по подъездам как бы не нашедшие адресата письма из-за границы. И тот, кто их подбирал, вскрывал и читал, попадал в ловушку. Кто читает чужие письма? Статья в газете так и называлась “Робин Гуды из Чернигова”. Охватили Украину, вышли на Россию. Концессия (по типу “детей лейтенанта Шмидта”). Потом, когда пик миновал, иммигрировал. Хотя я думаю, им просто заинтересовались органы. Когда рассказывал, просил не печатать, пока. “Пара семей еще живет с этого...” Сказал ему, что после разрыва с издательством новый роман отодвигается в необозримую даль, так что... Почему-то меня тянет к авантюристам. Я “пропустил” свои 90-е. А Леон уехал, не дожидаясь развязки; прозорливый Леон; “дитя” челябинской промзоны (уехал по еврейской линии). Сколько? 20 лет. И все это время ничего толком не знали друг о друге. Потом он организовал фестиваль и пригласил меня. Поэтический, в Бонне. Леон и фестиваль? Невозможно, в университете он не мог организовать себе завтрак. А тут немцы, поляки. Консул. Это было три года назад, но с тех пор я стал приезжать в Германию регулярно. Из всех стран здесь я меньше всего чувствую себя иностранцем. При том, что никакой ностальгии. Встретились с Леоном, как будто вчера расстались. Без прошлого. А вот то, что сейчас, интересно невероятно. Как, в чем время проявляет себя. (“Этот странный дух времени” — Леон.) Мне этого не хватает, таких разговоров. Спокойно и заинтересованно. Взгляд сверху или сбоку (со стороны) — когда все равно ничего изменить невозможно. Как оркестр, который играл на “Титанике”, когда тот плыл и когда тонул. И это счастье, что Леон прежний. Каждый живет с тем, что увозит. На первом курсе мы точно так же “философствовали”. О чем, я пытаюсь вспомнить. Как студенты из “Доктора Фаустуса” на сеновале. Нам было по 18 лет. И когда я приехал к нему в Бонн, мне показалось, что мы возобновили прерванный разговор. Мир не просто изменился, а поменялся на новый. А мы прежние. Сознать это и неожиданно, и хорошо. Значит, мы путешествуем во Времени. “Титаник” плывет, оркестр играет. Мы разговариваем.

В квартире у Леона всегда холод; он настолько привык экономить, что холода не чувствует; бедная Зоя. Еще Леон помешан на экологических продуктах. Он пристрастил меня к своему молоку (это вкусно). Для испорченного промзоной желудка Леон употребляет в пищу редкие немецкие земли (тут их продают как пищевую добавку). В этом смысле Германия стала его родной почвой. (“А на какой почве он спит?” — “Да на нашей, на датской, милорд”). В специальных магазинах все это (и даже экологические бананы) продается. По его совету я купил семена какого-то индейского растения, которое не запомнил, а упаковку выбросил; похожи на маковые; Леон сказал, что это хорошо добавлять утром в кашу; а я ем кашу. Зоя младше его на пятнадцать лет, украинская красотка-студентка; а первая жена (с которой он уезжал) и дочка давно живут с баптистами, то есть сами по себе. То, что с ним Зоя, это аргумент; я абсолютно доверяю женскому чутью. Она приехала в сад на велосипеде после занятий; фотографировались на лужайке перед университетом: “Поэт в гостях у Философа” (для блога). Потом обедали в “супном” кафе, сегодня там марокканская похлебка. Овощи и баранина, хотелось бы варить такие дома. Потом она снова на уроки, а мы обратно в Поппельсдорф. Это район, где живет Леон.

Пора ехать в Вупперталь, через два часа вечер. Но Фриша нет и нет. Вечная история. Наконец звонок, оказывается, он едет из Кёльна, “а тут пробки”, “садись на поезд, чтобы мне не въезжать в город, подхватчу тебя”. Этот Вупперталь по кёльнской дороге, оказывается.

На вокзале час пик, толчея; поезда идут каждую минуту, объявлений не слышно; адский трафик. Хорошо, что меня провожал Леон, сам я бы растерялся. А Леон все быстро и четко сделал. Это меня поразило, в университете он везде опаздывал и все терял. Что делает Германия. Хотя мне все равно кажется, что он живет немного античным философом. Одним днем и одними мыслями. Которыми он готов делиться в обмен на... чашку капучино, например. Так мне хотелось бы думать. Фриша, кстати, это невероятно бесит. То, что труд бывает умственным и без практического применения (без “писем счастья”) — не укладывается у него в голове и вызывает желание помочь, а потом, когда помощь оказывается бесполезной, досаду.

Челябинск—Чернигов.

Встретились на станции “Роденкирхе”, дальше по автобану; от суеты и нервов такое ощущение, что опоздали на несколь-

ко часов; я даже на часы боюсь смотреть; но нет, всего на срок минут.

Зал при кирхе большой и высокий. Человек 30; “сообщество”, то есть минимальная организация. Хотя в основном пенсионного возраста, и эта правда безутешна, скоро мы будем читать на кладбищах. Читал бакинское (которое Афанасию), я почему-то никогда не читал его раньше; потом короткие и “Саметь”; по-театральному. Ну а кто ты здесь? Персонаж.

После вечера В., организатор, вручил конвертик. Купюры и даже монетки (гонорар). Отправились пропивать это дело в Старый город. В. старше и “глава” литературного общества; родом из Донецка; мягкий и обаятельный дядька, с ним легко. Познакомились летом в Бонне на вечере в консульстве; тогда он предложил Вупперталь. Я не знал, что здесь центр русской бардовской песни. Но “просто стихи” они тоже слушают.

“То есть все эти люди на вечере — барды?”

В кафе Фриш постоянно “цеплялся” к В. с “майданом” (Фриш, само собой, “западенец”). Тот отшучивался, но это было на грани, я чувствовал. Была еще Н., но она хранила нейтралитет. Знакомая Фриша (у него везде знакомые). Ждал от меня поддержки, но я отмахивался.

“Единственный митинг, на который я выхожу с чистым сердцем, это за мир во всем мире”. Но вообще страсти тут кипят нешуточные, конечно.

30 октября. Бонн

“Леон, что значит “Поппельсдорф”?”

“Козьявка из носа, а ‘дорф’ — это деревня”.

“Козулька!”

(Мама моя по дороге в Красноярск присылала нам с Петей смешные названия станций; Козулька была последней.)

Не знаю, насколько это пространство “боннское”, но в других городах я подобного не встречал (хотя нет, вру — Померанцев показывал что-то похожее в Лондоне). Как любое “смешанное” пространство, оно обладает магией. “Магия” возникает, когда теряешь чувство времени. Улица, застроенная городскими домиками, тянется вверх и незаметно переходит в парк, затем в лесок, который нарезан на огородики. Дальше луг и снова лес, над лесом игла кирхи — и шумит невидимый автобан. Совершенно не городские запахи: сырых досок, грядок и компоста. Мокрые шезлонги.

Гулял и вспоминал мамин огородик за городом, нашу “козульку”. Сарай, который мы с отцом сколотили из досок от старого институтского забора. Ларь для картошки. Этот огородик потом спас нас, буквально — когда на балконах кур разводили. А у нас была своя картошка, кабачки и т. д. Сходить на заснеженный балкон и набрать ледяной квашеной капусты, этот ритуал я хорошо помню, даже сок на пальцах. Когда отец умер, мама стала подрабатывать. Я ей помогал. Мыли по очереди полы, я выгуливал чужих собак (как Незнайка на Луне). На мой английский и зарабатывали. Но с тех пор эту огородную жизнь я не очень люблю. Хотя все умею. В деревне у меня земля до леса, но в бурьяне. Маме это не дает покоя (“своя земля и пропадает!”). А мне все равно.

...Значит, Козулька. И это при том, что центр города; Зоя гуляет тут перед завтраком. Дальше кладбище; плакальщицы из черного мрамора. Кирха в ельнике. Если бы не трактор, ощущение, что попал в поэму Новалиса. На могилах копошатся женщины в больших резиновых перчатках и фартуках. То же, что и у всех на кладбищах — спокойное, неспешное делание того, что должно.

“Вы готовы?”

Незнакомый женский голос в трубке.

“Я приехала, как договаривались”.

Это Н. со вчерашнего вечера. Обещала повозить, показать окрестности Бонна. А я решил, что просто пьяный треп и все забыто. Но нет, через полчаса едем в замок Дракона.

...Погода влажная и теплая, апрельская. Бонн в дымке. Голубой Рейн лежит между утесами, вагнерианская картина.

Идем на гору пешком, “так романтичнее” (говорит Н.).

Она из Свердловска, профессия — журналист. Переехала десять лет назад.

Живет с сыном.

Замок на утесе, как на картинке. Как в сказке. Хотя меня никогда не трогала эта замковая романтика. Да и Замок не замок, а конец XIX века; романтика романтики. Вид на Рейн потрясающий: голубая лента исчезает в холмах; высокое светло-голубое небо; лес и черные камни. Торжественная музыка, Вагнер просто нашел этому нотные знаки. И так хорошо, что пусто, что будний день; никого.

Поснимал на телефон; вышлю Замок Пете. Сделать в стиле “старой открытки”. Немецкий романтизм и “немецкий романтизм”.

Вечером звоню Леону.

“У меня нет интернета, я буду в кафе”.

Леон: “Найн! В кафе нет интернета!”

“Как это?”

“Они боятся сайтов с педофилией, найн! Лучше приходи к нам!”

Рассказал, как утром в номер пришла уборщица.

Леон: “Немцы здесь встают рано и считают, что все должны вставать рано”.

Предложил для нашего блога новую тему: “Порнография” (“Я бы мог написать отличный порнороман”). Сошлись на названии “Основной инстинкт”. Эротические приключения Леона с германскими нимфетками, кто бы мог подумать. А на картошке он пересказывал фильмы ужасов.

Рассказал ему о Н., с которой ездили в Замок. Рассказал о Л. из Лейпцига. Как это, в сущности, и неожиданно, и точно. Обе приехали по немецкой линии из провинции. В Германии десять лет. Но с Л. мы на одном языке, а у Н. жуткая риторика. “Я против американской гегемонии в мире”, “Почему они нам указывают”, “Правильно наши делают...” Кто “наши”? Началось в Замке, эти разговоры. Хотя ей неловко говорить об этом. Но как сдержаться. Я тоже не могу. Как попадает этот вирус? Что должно произойти? Травма и унижение, не сомневаюсь. Униженный унизит и т. д. И беспомощность, и бессилие. Виноват кто угодно, только не ты. Откуда? Первый самостоятельный опыт, неудачный — на дворе 90-е. Жизнь складывается не так, как ты представлял. А ты не способен ничего изменить. Но как признаться себе в этом? И тогда заговор, враг. “Философия” человека из подполья. Мы продолжаем жить в этом подполье. К тому же это убийственно для женского обаяния. Все-таки форма каблука и длина юбки важнее.

“А Л. из Лейпцига?” — спрашивает Леон.

“Она Зина Мерц”.

Проницательная, легкая. Щепетильная. Все понимает, обаяние этой печали. Одинока. Набоковский тип русской девушки, живущей в Германии. Русской иностранки. Как все повторяется!

...Вечером Леон и Зоя уехали в Вену, у него защитился ученик, и они празднуют. Последний вечер в Бонне — с Фришем. Завтра в Цюрих, дальше Рим. Нашли французский киоск на главной площади. Вроде пиццы — под молодой коньяк (и чай с молоком). Улица, можно курить. Лучшие декорации (ратуша, ночь). Хотелось только смотреть, выпи-

вать, курить, кусать пиццу. Но нет, тема не отпускала. Рядом выпивал немец. Услышал, что мы говорим по-русски. Мы (они) разговорились, Фриш перевел.

Смотрит в рюмку голубыми остекленевшими глазами:

“Я одобряю российскую политику”.

Фриш переводит.

Чего я сейчас не хочу, это дискуссий.

“Из-за этой политики я больше не смогу приезжать к друзьям в Германию”.

Немец (выслушав перевод, удивленно):

“Почему?”

“Эта политика очень дорого нам обходится”.

Единственный аргумент, который на них действует.

Томас Манн. ...когда я думаю <...> о народном возрождении, заявившем о себе десять лет назад, об этом чуть ли не священном экстазе, к которому, правда, в знак его ложности, примешивалось многое от хамства, от гнуснейшей мерзопакостности, от грязной страсти растлевать, мучить, унижать <...> — у меня сжимается сердце от сознания, что огромный капитал веры, воодушевления, исторической экзальтации оборачивается ныне беспримерным банкротством. Нет, не скажу, что я этого желал, хотя должен был желать. И знаю, что желал и желаю сейчас, что буду это приветствовать: из ненависти к преступному пренебрежению разумом, к греховному бунту против правды, к разнузданно-пошлому культу дрянного мифа, к порочной путанице, подменяющей ценное обесцененным, к грубому злоупотреблению, к жалкой спекуляции старинным, заветным, исконно немецким — всем, из чего глупцы и лжецы гнали для нас свое ядовитое зелье. За хмель, которым мы жадно упивались долгие годы обманчивого кутежа и в котором напропалую бесчинствовали, надо платить.

Фриш спрашивает про Леона. Ему эта ссора неприятна. “Он всегда такой был?” (В смысле — 20 лет назад.) — “Да”. В том смысле, что “дитя промзоны” любую помощь принимает как должное. Чтобы отвлечь его, рассказываю историю. Я вспомнил ее в прошлый приезд, когда мы с Лео гуляли по ночному Рейну. Он что-то рассказывал, и его вкрадчивый голос (при том, что самого собеседника в темноте не видно) вытащил из моей памяти то, о чем я забыл. Эта история случилась, когда мы были на картошке, на первом курсе. Мы с Леоном держались тогда вместе, два очкарика. Вели глубокомысленные разговоры, а остальные изображали из себя героев-любовников. Женского-то общества не было. И вот однажды вечером Леон сообщил по секрету, что в соседнюю

деревню приехали девушки с философского факультета. То же на картошку. И что мы можем тайком “от этих” сходить к ним. Сказал, что случайно услышал разговор начальства или что-то в этом духе. Я ему поверил, потому что он сам в это верил. Мы даже бутылку портвейна где-то раздобыли. И вот там, на ночной дороге, в бородинских полях, он точно так же что-то рассказывал. Дорога, лес, красная осенняя луна. И его голос. Пересказывал фильмы, наверное.

На эту дорогу я и перенесся в тот момент.

А Леон — нет, не помнил этой истории.

Кстати, до девушек мы так и не дошли. Пустились на огоньки через ночное поле, а там был овраг. Потом ползали, искали на ощупь. Я очки, он ботинок. Там же, на дне, распили портвейн. Вернулись совсем ночью, а утром дали всем понять, что приключение удалось. Хотя никаких девушек, скорее всего, не было, Леон просто нафантазировал. Сам выдумал, сам поверил (и меня убедил).

Но мы хотя бы попробовали.

*Лейпциг–Бонн–Москва,
октябрь–декабрь 2014*